

Полет и капризы гения (сборник)

Автор:

Валентин Пикуль

Полет и капризы гения (сборник)

Валентин Саввич Пикуль

Исторические миниатюры Валентина Пикуля – уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, «тоже исторический роман, только спрессованный до малого количества». Миниатюры, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею портретов писателей, художников, музыкантов и других творческих личностей, живших в XVI – начале XX в.

Валентин Пикуль

Полет и капризы гения

© Пикуль В.С., наследники, 2011

© Пикуль А.И., составление 2011

© ООО «Издательство «Вече», 2011

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

«Пляска смерти» Гольбейна

В конце 1543 года старшина цеха живописцев и маляров города Базеля велел писцу раскрыть цеховые книги:

– Говорят, в Лондоне была чума, и, кажется, умер Ганс Гольбейн, сын Ганса Гольбейна из Аугсбурга.

Писец быстро отыскал его имя в цеховых книгах:

– Вот он, бродяга! Так что нам делать? Ставить крест на нем или подождем других известий из Лондона?

– Ставьте крест на Гольбейне, – решил цеховой старшина. – Наверное, он уже отплясывает со своим скелетом...

...«Пляска смерти» Гольбейна была слишком известна в Германии; гравюрные листы с этим сюжетом украшали покои королей и лачуги бедняков, ибо смерть для всех одинакова. Каждый, едва появившись на свет, уже вовлечен в чудовищную пляску со своим же скелетом. Гордая принцесса выступает в церемонии, а смерть учтивым жестом приглашает ее в могилу. Она срывает тиару и с папы, сидящего на римском престоле. В жуткую «пляску смерти» вовлечены все – судья, обвиняющий людей, купец, подсчитывающий выручку, врач, принимающий больного, и невеста, спешащая к венцу. Пусть коварный любовник увлекает знатную даму – смерть уже стучит в барабан, празднуя свою победу. Но Гольбейн иногда бывал и снисходительным. Вот бедняга-землепашец тащится за плугом, но скелет даже помогает ему, нахлестывая лошадей. Смерть обходит стороной и нищего, сидящего на куче всякого хлама... Не в этом ли великий смысл? Да и что иного можно ожидать от живописца, если вся его жизнь была «пляской смерти» – в обнимку со своим палачом.

Пока не погрузишься в эпоху Гольбейна, до тех пор портреты его кажутся лишь бесплотными иллюстрациями времени. Но стоит окунуться в эпоху (на срезе Средневековья и Возрождения), когда кубок вина ценился дороже головы человека, а вопли сгорающих на кострах чередовались с самой грязной похабщиной королей и фрейлин, тогда станет жутко при мысли: как мог художник жить и творить в том чудовищном времени?

Европа! Старые скрипучие корабли, древние города, пронизанные крысиным визгом, полумертвые храмы с погостами, дряхлеющие королевства... Вдали смутно забрезжили берега Англии.

Гольбейн разделял каюту с ганзейским негоциантом Георгом Гизе, плывущим в Лондон по торговым делам.

– Вам не страшно ехать в страну, где сегодня сжигают протестантов, а завтра будут топить в Темзе католиков?

– От купцов требуют хороших товаров, но в Ганзе не спрашивают, поклоняемся ли мы престолу Римскому или внимаем разгневанным речам Лютера... Ну а вы-то? – спросил Гизе, поблескивая живыми глазами умного и бывалого человека. – Не лучше ли было бы вам, Гольбейн, оставаться в Германии, как остался в ней и Альбрехт Дюрер?

Гольбейн сказал, что Базель уже спохватился, не желая терять своего живописца, но обещали платить в год только 30 гульденов, а прожить трудно даже на восемьдесят.

– Я обижен Германией, – скорбел Гольбейн. – Мои картины выбрасывали из церквей, их жгли на кострах, как сатанинские. Однажды на продольном полотне я распластал труп утопленника, я открыл впадину его рта, но моя жестокая правда смерти вызвала злобную ярость всех, всех, всех...

– Неужели всех? – со смехом спросил Гизе.

– Да. Мне пришлось обмакнуть кисть в красную краску, обозначив на теле раны, и мой утопленник превратился в «Христа». Так люди отвергли правду человеческой смерти, зато ее приняли под видом страданий Спасителя нашего...

Качка затихала – корабль уже входил в Темзу.

...Английский король Генрих VIII (из династии Тюдоров) напрасно зазывал в свои владения Тициана и Рафаэля – никто из них не оставил благодатную Италию, и королю пришлось второй раз приглашать н е м ц а Ганса Гольбейна, которого в

Аугсбурге заставляли красить уличные заборы.

Была мерзкая, дождливая осень 1532 года...

– Спасибо королю, знающему мне цену. Я не забуду, как лорд Норфолк при дамах щелкнул меня по носу, но тут же был сражен оплеухой короля. «Эй ты, невежа! – сказал король. – Из дюжины простаков я всегда наделаю дюжину милордов, но из дюжины милордов не сделать мне даже одного Гольбейна...»

С двумя учениками Гольбейн ехал в графство Гардфортское, где в замке Гундсона кардинал Уоллслей обещал ему дать прибыльную работу. Дороги раскисли, лошади тяжело ступали по слякоти.

– Не боюсь даже малярных трудов, – говорил мастер. – Мне же не раз приходилось расписывать алтари в Люцерне и вывески для колбасных лавок в Базеле, я красил даже крыши в Аугсбурге, но страсть моя – портреты. К сожалению, – горестно завздыхал Гольбейн, – люди уверены, что изобразить человека так же легко, как портняжке выкроить ножницами знамя. Однако если бы наше искусство было всем доступно, то, наверное, Англия имела бы целый легион своих живописцев. А где же они? Пока что их у вас нету... Вы, британцы, неспособны провести на бумаге волнистую линию, ваше ухо законопачено бараньим жиром, а потому оно закрыто и для нежной мелодии.

– Зато у нас, – гордо отвечали ученики, – немало кораблей и шерсти. Наконец в нашем королевстве не переводится выпивка, а каждый британец знает, что для него где-то уже пасется овца: придет время, и он эту овцу сожрет!

Мокрые стебли овсов, растущих по обочинам, запутывались в колесах. Гольбейн, озябнув, окружил свою шею мехом.

– У меня на родине сейчас царят метафизика и жажда идеалов, а вы, англичане, желаете лишь суетной любви и насыщения мясом, плохо проваренным. Если же какой-либо милорд и жертвует один грош на искусство, он совершает это с таким важным видом, будто уговорил дикаря прочесть святое Евангелие... Впрочем, – осторожно добавил Гольбейн, – я не впадаю в осуждение страны, приютившей меня, и король которой охотно создает мне хорошую репутацию и богатство.

Прибыв в Гундсон, они остановились у «Черного Быка», заказали два кувшина вина. Гольбейн просил хозяина зажарить для них индейку пожирнее. Ученики спешили напиться:

– Мастер, у нас бокалы уже кипят от нетерпения!

– У меня тоже, – отвечал Гольбейн. – Но я вижу, что нашу индейку отнесли на стол к какому-то уроду... Эй, хозяин! Кто эта скотина? Я ведь любимый художник вашего короля.

Трактирщик надменно ответил:

– Твою индейку съест человек, талант которого король возлюбил пуще твоего таланта. Это... п а л а ч короля, и ты бы только видел, как ловко отрубает он головы грешникам!

Дождь кончился. Стадо мокрых овец, нежно бляя, возвращалось с далеких пастбищ. В окне трактира виднелся замок и обширный огород, на котором издавна выращивали зелень для стола британской королевы Екатерины Арагонской.

– А когда я был в Англии первый раз, – заметил Гольбейн, – то бедная королева, желая полакомиться свежими овощами, прежде посылала курьера за салатом или спаржей через канал – во Францию!

Палач со вкусом разодрал индейку за ноги, он алчно рвал зубами сочное мясо. Профаны старались пить намного больше своего учителя, обглоданные кости они швыряли в раскрытые двери трактира, где их подхватывали забежавшие с улицы собаки.

– Скоро с этого огорода, – шепнул ученик, – все ягодки достанутся другой... Говорят, наш король жить не может от безумной любви к фрейлине Анне Болейн. Старая королева сама и виновата, что, посылая за салатами, заодно с травой прихватила из Парижа в Лондон и эту смазливую девку.

– А я слышал, – сказал второй ученик, звучно высасывая мозги из кости, – что эта девчонка заколачивает двери спальни гвоздями и она не уступит королю, пока

папа римский не даст Его Величеству согласия на развод с его первой женой.

Палач уничтожил индейку. И подмигнул Гольбейну.

– Тише, тише, – испугался Гольбейн. – Я лишь бедный художник в чужой стране, и мне ли судить о делах вашего короля?

Палач вышел и вернулся с огорода, держа в руке цветок, который он с поклоном и вручил Гольбейну:

– Я догадался, кто вы... Гольбейн! Я слишком уважаю вас. Если вам не очень-то повезет при дворе нашего славного короля, я обещаю не доставить вам лишних переживаний. Поверьте, я свое дело знаю так же хорошо, как и вы свое дело.

– Благодарю, – учтиво отвечал Гольбейн. – Ваши добрые слова доставили мне искреннее удовольствие...

А в сумрачной галерее Гундсонского замка пылали огромные каминные трубы, музыканты тихо наигрывали на гобоях. Ближе к ночи кардиналу Уоллслею доложили о приезде знатных гостей. Вошли тринадцать мужчин в масках, они просили сразу начинать танцы. Один из них сорвал маску, открыв большое белое лицо с рыжей бородой – это был сам король Генрих VIII, который смелой поступью направился к молодым фрейлинам. Камергер сказал Гольбейну, чтобы убирался отсюда прочь – на антресоли, куда и проводили художника лакеи. Скоро на антресолях появился Генрих, ведя за руку смущенную девушку с гладкой прической, из-под которой торчали непомерно громадные бледные уши.

– Посмотри, Гольбейн! – воскликнул король, жирной дланью, униженной перстнями, поглаживая нежный девичий затылок. – Скажи, где ты видел еще такую красоту? Я хочу иметь портрет моей драгоценной курочки Анны Болейн... На, получи!

Генрих VIII отстегнул от пояса один из множества кошельков, украшавших его, и швырнул кошелек мастеру, который и поймал деньги на лету, невольно вспомнив собак в трактире, хватавших обглоданные кости. Анна Болейн скромно ему улыбалась...

Ганс Гольбейн вернулся к своим ученикам:

– Пора растирать краски, время готовить холсты... Будем трудиться ради сохранения примет своего времени. Потомки да знают, как выглядели брюхатые короли и тощие нищие, как одевались фрейлины и проститутки... Что там за складка возле губ Анны Болейн? Ах, оказывается, его королевское величество слишком сегодня строг... Запечатлеем и это!

Есть отличный рисунок с Анны Болейн, которую художник изобразил павшей на колени. Что-то жалкое, что-то вымученное, что-то безобразное, но только не молитвенное чудится в этой женщине, уже с юности вовлеченной в «пляску смерти» художника. Гольбейн создал очень много, но осталось после него очень мало. Время, беспощадное к людям, не пощадило и его творений. Наверное, он мог бы поведать о себе далекому потомству:

– Жизнь моя останется для вас загадочна и таинственна, как и дебри Америки, зато мои портреты сэберегут для вас всю жестокую правду времени, в котором я имел несчастье жить и страдать со всеми людьми... как художник! как человек!

А ведь миновало всего 40 лет с того момента, когда Колумб открыл Америку. Лондон имел в ту пору уже около ста тысяч жителей, его улицы кишмя кишели ворами, попрошайками, нищими и сиротами. В моду входил строительный кирпич, оконное стекло перестало удивлять людей. У всех тогда были ложки, но вилок еще не знали. Мужчины пили вино, оставляя пиво для детей и женщин. Замужние англичанки одевались скромно, но девушки имели привычку обнажать грудь. Полно было всяких колдуний и знахарок, обещавших любое уродство превратить в волшебную красоту. Казни для англичан были столь же привычны, как и карнавалы для жителей Венеции. Головы казненных подолгу еще висели на шестах, пока их не срывал ветер, как пустые горшки с забора, и они, гонимые ветром, катились по мостовым, развеваясь длинными волосами и никого уже не пугая впадинами пустых глазниц. Прохожий просто отпихивал голову ногой и продолжал свой путь дальше – по обыденным делам...

Климент VII, папа римский (из рода знатных Медичи), получил письмо от Генриха VIII: король умолял его как можно скорее разлучить его со старой женой, ибо уже нет сил выносить страсть к молодой Анне Болейн... Папа был вне себя от гнева:

– Этот чувственный олух решил схватить меня, как свинью, за два уха сразу, чтобы тащить на заклятие! Но он забыл, что Екатерина Арагонская – племянница германского императора Карла, под скипетром которого почти вся вселенная...

Гнев папы имел основания. Совсем недавно ему пришлось бежать из Ватикана, когда в Рим ворвались оголтелые войска Карла V; они вырезали половину жителей Вечного города, Тибр был завален трупами, дворцы сгорали в пламени, разбойники оскверняли не только женщин, но даже детей, все женские монастыри подвергли массовому изнасилованию, ландскнехты Карла V жгли людей над кострами, расшибали камнями людские черепа, римлянкам отрезали носы, отрывали уши клещами, а глаза выжигали раскаленными вертелами...

Папа рассуждал далее:

– Если теперь позволить английскому королю развестись с племянницей Карла V, император вернется сюда с мечом, а Риму не вынести второе нашествие испано-германских вандалов...

Папа припугнул Генриха VIII буллой, в которой грозил отлучением от церкви, если будет и далее настаивать на разводе с женой... Король зачитал эту буллу перед парламентом:

– Ответ мой папе таков – в Каноссу не пойдем!

Случилось невероятное: маленькая вертлявая девица отрывала Англию от католической церкви. Желая примирить католицизм с протестантством, король объявил о создании новой церкви в Англии – англиканской! Главою этой церкви король сделал самого себя, а буллу от папы разодрал в клочья. Свой плотский, низменный эгоизм он возводил в степень государственной политики... Канцлер Томас Мор предупредил Генриха:

– Ваше Величество решили играть с огнем?

Автору «Утопии» король отвечал диким хохотом:

– Что делать, Том, если я люблю погреться у огня...

Гольбейн поселился среди своих земляков – в лондонском квартале «Стальной Двор», который давно облюбовали для своей биржи ганзейские купцы, много знающие, оборотистые, дальновидные, как пророки. Здесь художник снова встретил негодянта Георга Гизе, портрет которого он теперь и писал в деловито-сложном интерьере его торговой конторы. Живая натура и живописец, изображающий эту натуру, редко делаются друзьями: между ними порою возникает бездна, и тот, кого портретируют, силится навязать художнику свою волю, свои истины, даже свои вкусы... Проницательный Гизе рассуждал:

– Я слышал в Любеке, что вы когда-то разукрасили поля «Похвалы глупости» Эразма Роттердамского своими забавными рисунками. Но какие рисунки вы приложили бы к философской «Утопии» английского лорда-канцлера Томаса Мора?

На вопрос негодянта мастер ответил:

– О-о, его «Утопия» – это ведь только утопия!

– Вряд ли... – Гизе, подойдя к дверям, выглянул на улицу и вернулся за стол. – Нас никто не слышит, – сказал он, распечатывая пакет из Гамбурга с ценами на щетину и мыло. – А я спрошу: кто рекомендовал вас королю?

– Не королю, а канцлеру Томасу Мору меня рекомендовал Эразм Роттердамский... они ведь друзья, и я счастлив, что моя жизнь озарена доверием ко мне этих великих мыслителей.

– Так ли уверен Мор после истории с Болейн?

– Вы боитесь за судьбу Томаса Мора?

– Но связанную с вашей судьбой... Сможете ли вы работать в стране, где даже канцлеры не знают, где они будут сегодня ночевать – у себя дома или в темницах Тауэра? Английский король считает преданными ему лишь тех, кто в нем, тупом и безжалостном деспоте, разглядит силу ума и его величие... Так не лучше ли возвратиться в Германию, чтобы красить заборы?

Вскоре Генрих VIII обвенчался с Анной Болейн, а прежнюю жену заточил в замке; дочь от нее, Мария Тюдор, была признана им незаконнорожденной, тем более что Анна Болейн уже не скрывала от публики свой выпирающий живот...

– Я присягал только королю, – заявил Мор, – но я не присягал двоеженцу, ставшему а н т и п а п о й!

Генрих VIII в таких случаях долго не думал:

– И сгоришь на костре... как еретик.

– Выходит, мы оба любим играть с огнем.

Великий гуманист был отдан на расправу «Звездной Палате»; его приговорили: отрубить руки и ноги, извлечь внутренности, бросить их в костер, после чего можно лишать головы. Перед казнью пьяный король навестил своего бывшего канцлера.

– Каково? – спросил. – Только мои негодяи-лорды и могли придумать такую муку. Но я добрее: отрубим голову – и все.

После казни Гольбейн встретился с Георгом Гизе.

– Так что осталось от вашего покровителя?

– «Утопия» Мора и мои портреты Мора. Разве этого мало?..

Список портретов Гольбейна – страшный синодик затравленных, сожженных, обезглавленных... за что? Едва ли от Гольбейна осталась даже треть его наследия. Где уничтожено пожаром, где руками злых и глупых тупиц. Но иногда люди срывали со стен старые обои, а под ними яркими красками снова вспыхивала забытая, но бессмертная живопись Гольбейна... Портретам великого гуманиста Томаса Мора повезло – они уцелели!

Спорные вопросы религии лишь маскировали королевский деспотизм. Сегодня отрубали головы католикам, завтра вешали протестантов. Но в любом случае

содержимое их кошельков исправно поступало в копилку короля. В бойкой распродаже конфискованных земель богачи наживались, а бедняки нищали.

В сентябре 1533 года Анна Болейн родила дочь Елизавету, и король уже не скрывал своего отвращения к жене:

– Будь я проклят, до чего она мне опостылела!

Женщину, снова беременную, он жестоко избил, истоптав ее ногами, и Анна Болейн выкинула мертвый плод. Королю снова понадобился Гольбейн, который не замедлил явиться. Подле Генриха улыбалась художнику наглая красавица Дженни Сеймур.

Король бросил Гольбейну кошелек с золотом:

– Теперь все стало проще, ибо никакой папа из Рима уже не может помешать нам. Давай-ка берись за кисти, сделай портрет моей ласковой курочки Джен... Ах, как она хороша!

Генеральный викарий Томас Кромвель громил монастыри Англии, но, кстати, не удержался от упрека королю:

– Нельзя же менять жен – это вам не перчатки.

Генрих VIII ответил, что Анна Болейн... неверна ему:

– Потому я выбрал Дженни Сеймур.

– Каковы же признаки прелюбодеяния Анны Болейн?

– Спросите Дженни Сеймур, она все видела...

– Что могла видеть эта чертовка?

– Она застала непристойную сцену: Анна Болейн лежала в постели, на которой сидел этот выродок – лорд Рошфор.

- Но он же ее брат! - воскликнул Кромвель.

- Это все равно, - ответил король, и белое плоское лицо его сделалось розовым, как свежая ветчина. - Скажу большее. Во время рыцарского турнира Анна бросила платок Генри Норрису; вы бы видели, Кромвель, с каким изящным благоговением он прижал этот платок к своему развращенному сердцу.

- Не он ли победил на турнире всех рыцарей Англии? Наконец платок ему бросила не торговка селедками на базаре.

- Да, королева! Тем хуже для нее...

Анну Болейн разлучили с дочерью, вместе с Норрисом и Рошфором заточили в Тауэре. Король в эти дни охотился на оленей, сочинял любовные баллады, распевая их перед Дженни Сеймур, он играл ей на лютне... Дженни говорила ему:

- Ваша страсть ко мне бесподобна, но я удовлетворю вас только в том случае, если принесете мне голову этой грязной потаскушки Анны Болейн... Успокойте меня!

В ясный майский день, держа в руке белый цветок, Анна Болейн взошла на эшафот. В Лондоне были закрыты все лавки, театры левого берега Темзы пустовали, народ волновался и ждал, что скажет «прелюбодейка» на прощание.

- Спасибо великодушному королю, который прибавил еще одну ступень к лестнице моего случайного возвышения!

Несчастливая женщина, она ведь публично льстила извергу, боясь, что топор коснется не только ее, но и маленькой дочери. Измерив свою шею руками, Болейн сказала палачу:

- Кажется, я не доставлю вам особых хлопот.

- Шея у вас лебединая, - согласился палач. - Не волнуйтесь, миледи, еще никто из моих клиентов не посылал жалоб и проклятий на меня с того беспечального света...

На следующий день Генрих VIII объявил дочь Елизавету незаконнорожденной и празднично обвенчался с Дженни Сеймур. Он объявил Ганса Гольбейна своим придворным живописцем:

– А чтобы мои лакеи не давали тебе пинков под зад, вот тебе и ключ моего камергера. Тебя могут отволтузить в моем дворце с палитрой, но кто тронет тебя, придворного?

Ученики хором поздравили мастера с камергерством:

– Не выпить ли всем нам по такому случаю?

– Пейте сами, бездарные бараны...

Вскоре Генрих VIII, озабоченно-хмурый, снова позвал Гольбейна и громко хлопнул себя по громадному чреву, заявив:

– Что-то опять у меня не так... не то, что хотелось бы! Эта потливая Джен воняет по ночам в постели, как хорек. Я дам тебе кучу денег. Поезжай-ка на материк с ящиком красок. Говорят, овдовела шестнадцатилетняя Христина, дочь датского короля, что была за герцогом Миланским. Привези портрет этой девчонки-вдовы в траурном платье. Может, она-то как раз то, что мне надо! Я буду ждать тебя с нетерпением.

В поиски невесты вмешался и Томас Кромвель; он советовал Генриху VIII связать свою жизнь с принцессой Клеве, впавшей в лютеранскую «ересь», дабы этим браком примирить церковь англиканскую с учением всей европейской Реформации.

– А куда я дену Дженни Сеймур? Чувствую, что при таком короле, как я, Гольбейну не придется сидеть без дела...

Генрих VIII не просто убивал. Прежде чем казнить, он свои жертвы ласкал, нежно задурманивая их королевским вниманием. Кажется, гибель Кромвеля уже была предрешена, когда король присвоил ему титул графа Эссекса... Кромвель настаивал:

– Велите Гольбейну исполнить портрет с принцессы Анны Клеве – протестантки... Ее красота бесподобна!

«Пляска смерти» продолжалась. Король спрашивал:

– Боже, когда я избавлюсь от потеющей Джен?

Дженни Сеймур родила сына (будущего короля Эдуарда VI) и умерла, избавленная от смерти на эшафоте. Кромвель сказал, что теперь, когда престол Англии обеспечен наследником, можно признать законность рождения Марии Тюдор от Екатерины Арагонской, умершей в заточении, и можно признать законность Елизаветы, рожденной от Анны Болейн, лишенной головы...

Король подумал. Вздохнул. Улыбнулся:

– Не хватает еще одной головы...

– Чьей?

– А ты потрогай свою...

Кромвель был умен, но не догадался. Он напомнил королю, что в Германии свято хранит свою непорочность прекрасная принцесса Анна Клеве, а посол уже выслал в Лондон ее портрет, написанный Гансом Гольбейном:

– Почему бы вам не взглянуть на него?

Анна Клеве была представлена Гольбейном по колени; строгая, она смотрела с холста в упор, ее красивые руки были покорно сложены на животе. Король обрадовался:

– Какая нежная курочка, так и хочется ее скушать с пучком крепкого лука... Ах, соблазнитель Гольбейн! Как он умеет вызывать во мне страсть своей превосходной кистью...

Генриха VIII охватило такое брачное нетерпение, что он даже выехал в Рочестер – навстречу невесте. Две кареты встретились посреди дороги. Из одной выбрался король, из другой, осклабясь гнилыми зубами, вылезла худосочная карга.

– Откуда взялась эта немецкая кляча?

– Это и есть ваша невеста – Анна Клеве.

– На портрете Гольбейна она выглядела иначе...

В квартале «Стального Двора» появился королевский палач и снова поднес Гольбейну красную гвоздику.

– Не смею не уважать вас, – сказал он. – Но вы, кажется, попали в немилость... Помните, что в моем лице вы имеете друга, а мое искусство не позволит вам долго мучиться.

– Почему вы так добры ко мне? – удивился Гольбейн.

– Я был маляром, как и вы когда-то. Теперь мы оба мастера в своем деле, а художники всегда поймут один другого...

Именно в это время на родине Гольбейна уже продавались на базарах листы его «Пляски смерти», исполненные в гравюрах Лютценбургера. Кто не знал имени Гольбейна, тот узнал по этим политипажам. Начинаясь слава – бессмертная, и «Пляски смерти» Гольбейна дошли до нас – не только в гравюрах, но даже в будущей музыке Листа, Сен-Санса и других композиторов. Но до чего же чудовищны кастаньетные перестуки костей у скелетов, пляшущих среди могил в лунные ночи!..

В день свадьбы король спросил Кромвеля:

– Подумай, чего не хватает для веселья?

– Неужели эшафота? – ужаснулся викарий.

– Ты догадлив, приятель. Не старайся разжиреть, чтобы не возиться с твоей шеей, похожей на бревно для корабельной мачты. Впрочем, не бойся... я ведь большой шутник!

Свадьба была 6 января 1540 года, а на следующий день король отплевывался, выбираясь из спальни:

– Ну удружил мне Кромвель! Вовек не забуду такой услуги. Черт меня дернул связаться с этой лютеранкой, которая ни слова не знает по-английски, а я не понимаю немецкого...

Утром Кромвель еще заседал в парламенте, а после обеда уже был обвинен в измене королю... Генрих VIII сказал:

– Если обвинение состряпано, какой умник скажет, что обвиненный не виноват? Такого в моем королевстве не бывает.

Голова Кромвеля слетела с плахи. Король ликовал:

– Готовьте посольство в Неаполь, и пусть мне подыщут принцессу без недостатков. Хватит перебирать этих малокровных северянок, у которых не осталось волос на макушках...

Посольство ответило, что невесту нашли. Принцесса неаполитанская – стройная, фигура ее идеальна, бюст возвышенный и располагающий к приятным сновидениям, волосы у нее как пламя, ножки крохотные, она часто хохочет, характер покладистый и зовущий к радости... Генрих VIII прервал секретаря:

– Годится! Читай же главное – что там в конце?

– В конце послы сообщают, что принцесса из Неаполя будет идеальной супругой, но у нее есть маленький недостаток.

– Какой же? – насторожился король.

– Она слишком упряма. И вот эта упрямица вбила себе в голову, что скорее помрет, чем станет женою вашего королевского бесподобия. А во всем

остальном она имеет все достоинства, нужные для супружеского счастья...

Генрих VIII долго не шевелился на троне.

– Да, – сказал он, медленно оживая. – Упрямство – недостаток серьезный. А я, кажется, начинаю стареть...

Анна Клеве не стала возражать против развода. Король был так удивлен безропотностью этого уродливого создания природы, что провозгласил ее с е с т р о й:

– И пусть она живет сколько ей влезет...

Гольбейну пришлось писать портрет новой королевы – Екатерины Говард; это была закоснелая католичка, и потому, чтобы угодить жене, Генрих VIII с новой силой обрушился на протестантов. Англиканская церковь стала каким-то безобразным чистилищем, где не знаешь, каким алтарям поклоняться: всюду таилась смерть... Генриху VIII представили список любовников Екатерины Говард, и это его заметно огорчило:

– Как не везет! Ну ладно. Всех этих молодцов, что угодили в список королевы, я быстро перевешаю...

Екатерина Говард была обезглавлена. «Пляска смерти» продолжалась. Весной 1543 года король снова пригласил Гольбейна:

– Сейчас ты увидишь женщину, перед которой невозможно устоять даже таким королям, как я. Правда, черт ее дернул уж дважды остаться вдовой, но кто же не любит вишен, надклеванных птицами? Сейчас будешь писать ее портрет...

Портрет последней жены Генриха VIII стал для художника, кажется, последним. Осенью Лондон навестила чума. Безобразной гостьей она явилась и в дом Гольбейна. Зловещие мортусы в черных одеждах, воняющих дегтем, подцепили его тело крючьями и поволокли на погост, даже не зная, кого они тащат.

– Дорогу! – орали мортусы. – Все расступитесь прочь и даже не смотрите на эту падаль... Плюньте, сотворите святую молитву и ступайте дальше по своим

делаю...

Англия свято берегла могилу короля-палача, но она кощунственно затоптала могилу Ганса Гольбейна.

Трудно найти конец для такой страшной истории...

Германия, породив Гольбейна, свои права на Гольбейна как бы добровольно уступила Англии, и англичане со временем стали гордиться им, будто Гольбейн был англичанином. Все его наследие было давно растеряно, частью попросту уничтожено, но – век за веком! – Гольбейна канонизировали в святости мастеров Возрождения, и цена на любой клочок бумаги с его рисунком быстро возрастала. Наконец в 1909 году именно из-за Гольбейна в Англии возник даже громкий публичный скандал.

Случилось это так. В галерее герцога Норфолка находился портрет Христины Миланской, который англичане привыкли считать национальной собственностью. И вдруг стало известно, что американский миллионер Фрик покупает его за 72 000 фунтов стерлингов, а герцог охотно продает... нет, вернее, уже продал! Газеты позорили дирекцию Национальной галереи в Лондоне, которая не удосужилась еще раньше приобрести этот портрет работы Гольбейна. Между тем богатый американец грозил Норфолку, что больше месяца ждать не собирается:

– Деньги на бочку – и картина моя!

Англия, затаив дыхание, следила за перипетиями небывалой битвы – напряженной, как баталия при Ватерлоо. Спешно объявили добровольный сбор денег, дабы перекупить картину Гольбейна у Фрика. До срока оставалось четыре дня, а богатейшая страна не могла собрать и половины нужной суммы. Наконец настал роковой день, когда портрет Гольбейна вот-вот должен механически перейти в собственность «богатого дядюшки» из США... Люди следили за полетом времени, отсчитывая последние часы. Не уплывет ли Гольбейн за океан, как уплыли из Европы уже многие уникальные шедевры искусства?

– Гип, гип, ура! – слышались крики на улицах...

Нашелся некий патриот-аноним, в самый последний момент внесший в банк сразу 40 000 фунтов, и картина не покинула Англии. Случай отчасти даже смешной, но с трагическим привкусом. При этом я вспомнил королевского палача, который с цветком в руках говорил Гольбейну, что лишит его головы быстро и безболезненно.

Я уверен: до тех пор, пока люди будут ценить искусство, они будут высоко чтить и подвиг жизни Гольбейна – великого гуманиста, подобного его друзьям: Эразму Роттердамскому в Базеле и Томасу Мору в Лондоне...

Нашей стране на Гольбейна не повезло! О нем много пишут, но в каталогах музеев не встретишь его произведений. Однако не будем терять надежды, что где-нибудь в глухой русской провинции, под спудом заброшенных холстов, вдруг отыщут его утраченное произведение – как это случилось уже с «Мадонной» Леонардо да Винчи, как это случилось с «Евангелистами» Франса Хальса...

Аввакум в печи огненной

«Боишься печи той? Дерзай, плюнь на нее – не бойся! До печи той страх. А егда в нее вошел, тогда и забыл вся...»

Из темной глубины XVII столетия, словно из пропасти, нам уже давно светят, притягательно и загадочно, пронзительные глаза протопопа Аввакума – писателя, которого мы высоко чтим.

В самом деле, не будь Аввакума – и наша литература не имела бы, кажется, того прочного фундамента, на котором она уже три столетия незыблемо зиждется. Российская словесность началась именно с Аввакума, который первым на Руси заговорил горячим и образным языком – не церковным, а народным.

«Только раз в омертвелую словесность, как буря, ворвался живой, полнокровный голос. Это было гениальное “Житие” неистового протопопа Аввакума. Речь его – вся на жесте, а канон разрушен вдребезги!» – так говорил Алексей Толстой.

Реализм, точный и беспощадный реализм, убивающий врага наповал, этот реализм нашей великой литературы был порожден «Житием протопопа Аввакума».

Первый публицист России, он был предтечею Герцена!

А кто он? Откуда пришел? И где пропал?..

«Житие» его включено в хрестоматию, и каждый грамотный человек должен хоть единожды в жизни прикоснуться к этому чудовищному вулкану – этому русскому Везувия, извергавшему в народ раскаленную лаву афоризмов и гипербол, брани и ласки, образов и метафор, ума и злости, таланта и самобытности.

Нельзя знать русскую литературу, не зная Аввакума!

Скоморохи спускались с горы... Текла внизу матушка-Волга, а под горой лежало село Лопатищи; солнце пекло нещадно, день был работный. Еще загодя скоморохи напялили «хари» козлиные, загудели в сопелки, дурачась, забили в бубны, дабы народ сбегался на игры. А впереди дудочников и раешников два медведя плясали (один в сарафане бабьем, другой – как есть, ничем не украшен). Навстречу игрищу порскали от околиц ребятишки, кузнец отложил молот в кузне, из-под руки глядели на скоморохов бабы с граблями, перестав сено ворошить на полях; всем стало весело.

Но тут вышел поп лопатищенский – прозванием Аввакум.

Молод еще, борода черная, в завитках, а глаза – угли.

– Не пуцу в село! – объявил забавщикам. – Неистовство ваше бесовское еси, оставьте пляски антихристовы...

Скоморохи на него – в драку.

– Ах так? – осатанел поп, рукава ряски закатывая...

Много их было, а он – один. Зато люто и толково бился поп. Как даст по зубам – кувырк, и пятки врозь. Побил всех скоморохов, а бубны и сопелки с «харями» разломал. Но забыл Аввакум про медведей; скоморохи науськали косолапых на попу, и тут попу стало худо. Без ружья и рогатины, голыми руками – как медведей осилить? А звери уже лезли в драку, и тот, ученый, что в сарафан был одет, он на двух лапах шел; видел Аввакум его пасть серо-розовую с клыками желтыми, а из пасти той попахивало – нехорошо и муторно.

– Владычица, помози! – взмолился Аввакум и хрястнул медведя кулаком в ухо: зашатался тот, обмяк в сарафане и лег...

Второго мишку (который еще неучен был) прижал поп к себе, и стали они ухаживаться по кругу – кто кого свалит? Аввакум силищи непомерной – так стиснул медведя, что у того в шее что-то хрустнуло, взревел зверь и, оставляя после себя на траве след болезненный, дунул к лесу, а скоморохи – за ним...

Шатаясь, вернулся Аввакум в село, прошел в избу.

– Водицы мне, Марковна, – сказал жене и над порогом умылся от крови, полковника испил «стомаху ради» и побрел на сеновал, где неделю отлеживался от медвежьих объятий...

Вот беспокойный поп! Ни с кем не ладил – ни с паствою, ни с боярством. Однако к службе церковной был весьма рачителен, за что его возвели в сан протопопа – стал Аввакум владыкою в соборе города Юрьевца. Здесь его из ризницы выволокли, «среди улицы били батошьем и топтали; и бабы били с рычагами. Грех ради моих, замертва убили и бросили под избной угол...» Хотели горожане его в ров кинуть, чтобы там протопопа собаки бездомные съели, но тут воевода с пушкарями набежали – спасли владыку.

Таковы дела прошлые – дела святые, богоугодные...

Марковна всю ночь не спала – мужу лапти плела. Надел он лапти новые и спасался из Юрьевца до Костромы, а там, в Костроме, народ уже бил протопопа Данилу – таким же смертным боем, каким намедни били протопопа Аввакума, и побежал Аввакум далее.

Был год 1652-й – на Москве дышалось пожарами и смутами.

Царь Алексей Михайлович к Аввакуму благоволил. Ночью они на молитве потаенной встретились, царь спросил строгойше:

– Ты почто с Юрьевца бежал, людей без Бога оставил?

– Великия шатания на Руси зачались, осударь... А меня в Юрьевце били, оттого и бежал. Протопопица с детьми малыми в лесу осталась – неведомо, живы или побиты?

В том году в патриархи Руси избрали властолюбивого Никона, который церковные дела на новый лад переиначивал. А пуще прежнего стал Никон царя и власть царскую возвеличивать.

– Вот срам-то где! – ярился Аввакум. – Царь уж нынеча и такой, и сякой, и намазанный... Властью пьян патриарх, толсторожи все, едят вкусно, прелестники никонианские! Деды наши ранее поборов не платили, а теперь откуда их царь выдумал?

– Молчи, – внушали ему друзья. – Иначе распнут тебя да все члены повыдергивают на Болоте Козьем... Эка мука-то египетска!

Но был Аввакум крепок в убеждениях своих.

– Никого не боюсь! – возвещал открыто. – Ни царя, ни князя, ни богата, ни сильна, ни самого дьявола...

Патриарху всея Руси он прямо в рожу харкал:

– Ишь, боров! Идешь коли, так брюхо-то у тебя, бодто гора какая, колеблется. Отъелся на объедках царевых, за то и царя похваливаешь! То романей тебе шлют, то горшочек мазули с шафраном, то от арбуза полоску отрежут... Блюда царские ловок облизывать!

Про царя «тишайшего» Алексея говаривал Аввакум:

– Тоже кровосос... все они крови нашей алчут!

- Какова же вера твоя, протопоп? – спрашивал его царь.

- Самая праведная! И вернее нашей мужицкой веры нет...

Начались аресты расколоучителей, взяли и Аввакума. «Во тьме сидя, кланялся на чепи, не знаю – на восток, не знаю – на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно. Бысть же я в третий день приалчен, сиречь есть захотел... На утро архимарит з братьей пришли и вывели меня; журят мне: “Что патриарху не покорисся?” А я от Писания его браню да лаю... велели волочить в церковь. У церкви за волосы дерут, а под бока толкают, и за чеп трогают, и в глаза плюют... Сидел тут я четыре недели».

Водили его на двор патриарший, где истязали всячески.

- Смирись, олух царя небесного! – кричал Никон и жезлом бил по спине, по рукам, по голове – куда придется...

- Покорности моей не узришь ты, лютер собачий!

Повезли Аввакума в собор, где и царь был, чтобы «расстричь» его в наказание. Царь «тишайший» за него тут вступился:

- Не надобно стричь дурака. Еще одумается...

С женою и детьми выслали Аввакума в Сибирь. «Протопопица младенца родила – больную в телеге и повезли до Тобольска; три тысящи верст недель в тринатцеть волокли телегами, и водою, и санми половину пути...» Приехали. И года не прожили, а уже пять доносов на Аввакума в Москву прибыли: мол, злодеен сей протопоп, на власть божию огнем лютым пышет. Указано Аввакуму из Тобольска далее ехать – в Даурский отряд боярина Афанасия Пашкова, а тому Пашкову повелели из Москвы протопопа умучить.

«О, горе стало! – вспоминал Аввакум. – Горы высокие, дебри непроходимые, утес каменной яко стена стоит, и поглядеть – заломя голову! В горах тех обретаются змеи великия; в них же витают гуси и утицы – перие красное, вороны черныя, а гальки серыя... во очию нашу, и взять нельзя! На те горы выбивал меня Пашков – со зверми и со змиями, и со птицами витать».

Аввакум начальнику своему говорил так-то:

– За што ты, аспид окаянный, людей жжешь и мучишь?

Пашков свалил протопоба наземь, чеканом железным стучал по спине крепко, велел плетями стегать, покуда пощады просить не станет. Аввакум всю лавку под собой зубами изгрыз... Пашков при этом похаживал да порыкивал:

– Взмолись о милости, иначе насмерть забью.

– Не щади мя! – отвечал Аввакум. – Не взмолюсь... Кто здесь человек, так аз грешный, а ты – зверь. Что ж, губи!

Всего в крови, сковали его в цепи и под ночной ливень выкинули: пущай валяется!

Настали морозы ядреные, сибирские, бороды казаков закуржавели от инея. Привезли Аввакума в Братский острог, «и сидел до Филиппова поста в студеной башне[1 - Б р а т с к и й о с т р о г – ныне всемирно известный город Братск в Иркутской области; башня, в которой сидел Аввакум, сохранилась, и в 1959 г., как музейная реликвия старинной архитектуры, она была перевезена в село Коломенское под Москвой.]... Что собачка в соломе лежу: коли накормят, коли нет. Мышей много было, я их скуфьей бил, – и батожка не дадут, дурачки? Все на брюхе лежал: спина гнила. Блох да вшей было много...» Выжил. Вытерпел. Весны дождался. А жена с детьми была от Братского острога подальше отослана, чтобы по мужу не плакалась.

Отряд Пашкова двигался на страну Даурию – больше волоком, через реки великие, через пороги высокие. Аввакум, как бурлак (точнее – как лошадь), был впряжен в бурлацкую лямку и в воде по грудь, заодно с казаками, тянул бечевой лодки пашковского каравана. Вокруг него умирали люди, а он тащил и тащил караван. («У меня, – писал он потом, – ноги и живот синь были»). А когда реки кончались, через горы перетаскивал корабли по суше...

Велика сила была в этом человеке!

А годы текли – как вода Ангары, Нерчи и Шилки...

Аввакум казаков уже не раз на бунт подмачивал:

– Вишь ты, каких хороших воевод царь на Сибирь высылает! Эвон, и Пашков наш, дай ему Бог здоровьица: много он вашему брату ребер сломал и кнутом бил, одного сжег до смерти на костре, двух повесил, а других послал – голыми! – за реку, гнусу таежному на съедение... Ну, до чего же хорош воевода у нас!

В 1658 году экспедиция Пашкова заложила Нерчинский острог (нынешний город Нерчинск), где воевода «переморил больше пяти сот человек голодную смертью... озяблых ели волков... сам я, грешный, волею и неволею причастен кобыльим и мертвечьим, звериным и птичьим мясам...». С Нерчи-реки возвращался протопоп с женою и с детьми нартами – сами пеши по льду. Иной раз протопопица падала на лед, не в силах идти.

– Долго ль муки сия, протопоп, будет? – спрашивала.

А что он мог ей ответить? И отвечал в утешение:

– До самыя до смерти, Марковна...

Ох, и крепкая же была жена – под стать мужу.

– Добро, Петрович, ино ишо побредем...

Сибирь, Сибирь – край непочатый, пулями Ермака просвистанный, золотая страна и дивная. Зорко запоминал Аввакум богатства сибирские, лук да чеснок дикие пробовал, какие рыбы в реках живут, какие звери сигают – все примечал поп! В жестоком времени порожденный, сам будучи жесток, душевно Аввакум был мягок и все живое любил... Была у него курица, детишкам его яйца носившая. Случайно – при езде в нартах – придавили ее. «И нынеча мне жаль курочки той, как на разум приидет... нас кормила, а сама с нами кашку сосновую ис котла тут же клевала, или и рыбки прилучиться, и рыбку клевала; а нам против тово по два яичка на день давала».

Одиннадцать лет ссылки закончились.

Аввакум отъехал на Москву, где его поджидал царь, убежденный, что дух протопopa сломлен лишениями...

Теперь можно явить его пред светлые царские очи!

Мы не станем, читатель, вдаваться в подробности религиозных распрей того времени. Для нас важно другое: Аввакум вроде бы выступал против патриарха Никона и реформ церковных, но тяжелая артиллерия его проповедей – заодно уж! – громила и царские хоромы; ядра брани неистового протопopa летели прямо в головы бояр, воевод и придворной челяди... Потому и страшен был протопop!

«А кого Бог и народ бережет, – писал он в те дни, – того ни царь, ни свинья не пошевелит». В народе сохранилось предание, как свиделись царь Алексей Михайлович с Аввакумом.

– Горе всему народу русскому выпало, – возвестил царю Аввакум. – Стрельцы твои завсе мужиков обобрали, чем же дальше-то россияне свои животы держать станут?

Царь будто побагровел от гнева и рявкнул:

– На колени пади, пес!

Но не так-то легко поставить Аввакума на колени.

– От пола твоих хором до моих ушей далеко, – отвечал он. – Так-то, стоя перед тобою, мне тебя лучше слышать.

«Тишайший» царь грозил, что закует его в цепи.

– Меня заковать легко, а вот народ-то все чеппи с себя посрывает да на тебя их водрузит, каково тогда будет?

Царь посохом ударил протопopa в лицо и выбил ему зубы.

Аввакум с кровью выплюнул их в лицо царю.

– Боисся ты меня! – сказал он. – Оттого и лютуешь...

Недолго погостил Аввакум в белокаменной, и в 1664 году сослали его в Мезень – опять с протопопицей и с детьми, кои в ссылках да тюрьмах произрастали. На Москве оставил протопоп не только врагов, но и сторонников (а среди них знаменитую боярыню Феодосию Морозову).

Через два года из Мезени опять в цепях потащили протопопа на Русь. Сообщал он: «И бороду враги божии отрезали у меня... Оборвали, что собаки, один хохол оставили, что у поляка, на лбу. Везли не дорогою в монастырь – болотами да грязью, чтоб люди не сведали. Сами видят, что дуруют, а отстать от дурна не хотят: омрачил дьявол...»

К тому времени многих сторонников Аввакума уже задавили в петле, удушили дымом в банях, казнили их всяко, измучили. Хотели и протопопа удавить, да царица его пред царем отстояла, отчего в семье царской «великое нестроение» случилось. Аввакума, в цепи закованного, все время увещевали. Таскали, бедного, из одной тюрьмы в другую темницу и пытались его покорить. В 1667 году поставили Аввакума на суде перед патриархами. «Да толкать и бить меня стали; и патриархи сами на меня бросились. Человек их с сорок, чаю, было – велико войско собралось!»

Нет! Не покорился протопоп синклиту духовному...

А народ не безмолвствовал. Царю докладывали, что «от Аввакума всенародный мятеж происходит». Протопоп возвещал открыто:

– Народ – что море: разволнуется – не уймешь!

Распалилась мужицкая дума!

Чу: засеченных смертный крик!

Брызжут искры костра Аввакума,

Слышу Разина грозный рык!

По Волге уже бродили буйные ватаги Стеньки Разина, и власть царская ощутила некую потаенную связь между бунтами казацкими и волнениями раскольников на Москве... Аввакума с его друзьями, Епифанием и Лазарем, увезли на этот раз далеко – в Пустозерск, что погибал в снегах и песках на краю света, близ Студеного моря... Холодно там, голодно там! В земле промерзлой выкопали стрельцы яму глубокую, обложили ее изнутри срубом, вроде колодца, и в яму эту спустили Аввакума с его соратниками. Сверху еду и питье, как собакам, бросали.

Здесь под визги полярной метели протопоп Аввакум создает капитальное произведение русской литературы – «Житие протопопа Аввакума». Отсюда, из пустозерской темницы, он рассылает по Руси «подметные» письма – обличающие, негодующие, к бунту зовущие.

Это был камень, а не человек!..

В 1669 году умерла старая царица Мария Милославская, а на Волге уже полыхало пламя крестьянской войны; голытьба кричала: «Сарынь, на кичку!»[2 - Сарынь, на кичку! – боевой возглас волжской вольницы. Сарынь – это беднота и голытьба, а кичка – носовая часть волжского корабля. Беря на abordаж купеческие суда с товарами, этим возгласом отделяли голытьбу от купцов, подвергавшихся уничтожению.] – и тряслась толстомясая боярская Русь. Дряхлый царь женился на молоденькой Наталье Нарышкиной, которая вскоре принесла ему сына – будущего императора Петра I. В ночь на 16 января взяли на Москве «духовную дочь» Аввакума, боярыню Морозову, и везли ее в стужу на санях, и взывала она к народу, двумя перстами грозя, – и такой запомнил ее народ, и такой она вошла в наше сознание, навеки закрепленная на холсте кистью Сурикова... Морозову хотели сжечь, уже и сруб был приготовлен, «да бояре не потянули». В 1675 году, умирая от голода в темнице, Морозова просила стражника: «Помилуй мя, даждь ми калачика!» Он же рече ей: «Ни, госпоже, боюся». Тогда попросила она его выстирать для нее сорочку – и он эту просьбу исполнил.

Так и умерла! А вскоре умер и царь Алексей Михайлович – на престол воссел его слабоумный сын Федор.

– Аввакума-распопа, заблудша в ереси, – велел он, – с его товарищами в огонь ставить и в огне том же чь...

Был апрель 1682 года. Полярный океан задувал над юдолью Пустозерска широко и протяжно. Собрался на площади народ и снял шапки... Дрова подождли – замолчали все, только слышался треск жарких сучьев да шипение бересты.

Аввакум, стоя на костре, говорил народу, чтобы колоколов московских не слушали, а властям царским не покорялись.

– А коли покоритесь, – грозил он, – вовек погибнете, и городок ваш занесет песком до крыш самых...

Огонь охватил казнимых, и один из них (Лазарь или Епифаний – то неизвестно) закричал от страшной боли.

Аввакум наклонился к нему и стал увещевать:

– Боишься печи сей? Дерзай, плюнь на нее...

Так и сгорел.

А через несколько дней после казни Аввакума на престол московский взошел малолетний царь Петр I, и на Руси начиналась совсем другая эпоха – тоже жестокая, но с иными людьми, с иными проблемами...

В 1856 году Пустозерск посетил известный исследователь народного быта писатель С.В. Максимов. Пустозерск уже наполовину занесен песками, а другая половина города похилилась среди болотных кочек и непролазной грязи. Максимов поговорил со стариками, и один из них сказал ему:

– Протопоп чуял, что быть-де мне во огни. И распорядок такой сделал: свои книги роздал! Народ, пустозерский и стрельцы, кои приставлены были, советовали бежать, да Аввакум не согласился, милостей не принял, советов не слушался: велел себя жечь и вошел в печь, будто в рай...

Здесь примечательна фраза, что перед казнью Аввакум «свои книги роздал» пустозерцам. Ведь его «Житие» не дошло до нас в подлиннике – оно известно лишь в списках-копиях...

Вся лучшая наша литература была заражена «аввакумовщиной».

Тургенев всю жизнь, даже за рубежом, не расставался с «Житием протопопа Аввакума», он говорил друзьям: «Вот книга! Каждому писателю надо ее изучать...»

Лев Толстой в кругу семьи часто читал вслух «Житие».

В мыслях о судьбах родины Максим Горький не оставлял тяжелых раздумий о протопопе Аввакуме, которого он относил к числу виднейших прогрессивных писателей мира.

Достоевский, Гончаров, Чернышевский, Лесков, Гаршин, Бунин, Леонов, Пришвин, Федин – никто не прошел равнодушно мимо писаний Аввакума... На Первом съезде советских писателей имя протопопа Аввакума упоминалось как имя писателя-бойца, который способствовал развитию гражданских мотивов в нашей литературе.

Героический образ Аввакума был сродни и русским революционерам: его стойкое мученичество помогало узникам царизма выносить тюрьмы и ссылки. Наконец, в тяжкие дни ленинградской блокады образ Аввакума вошел в стихи Ольги Берггольц:

Ты – русская дыханьем, кровью, думой,

В тебе соединились не вчера

Мужицкое терпенье Аввакума

И царская неистовость Петра.

На месте бывшего Пустозерска ныне ничего не осталось, а возле него вырос новый культурный центр – Нарьян-Мар. В 1964 году общественность Москвы, Ленинграда и Архангельска подняла вопрос об увековечении того места, где когда-то шумела суровая и трудная русская жизнь. Посреди тундряной пустоши был открыт памятник-обелиск. На торжество открытия памятника съехались нарьянмарцы, колхозники из окрестных деревень, печорские рыбаки, школьники и учителя – все они были потомками тех пустозерцев, которые знали когда-то

Аввакума...

На мраморной плите памятника золотом было оттиснуто имя протопопа Аввакума, сожженного за «великие на царский дом хулы». Советская печать отметила это важное событие: «Проезжающие на лодках мимо памятника бывшие жители Пустозерска всегда снимают шапки, как перед самой дорогой святыней...»

Факт, конечно, поразительный!

И не проходит года, чтобы романтики не ехали в эту пустозерскую глушь. Что они ищут там? Крестьянин русского Севера не знал крепостного права, он был грамотен, ученость в людях чтит и высоко ценил слово писаное. Не исключено, что в сундуке какой-нибудь ветхой бабки, под ворохом старинных сарафанов и складней, еще лежит заветный подлинник «Жития протопопа Аввакума»...

Романтики не теряют надежды найти его!

Книга о скудости и богатстве

Наконец историки обнаружили и такую запись:

«1726 году февраля в 1 день содержащейся в Тайной розыскных дел канцелярии под караулом колодник... Иван Тихонов сын Посошков против помянутого числа пополудни в девятом часу умре. И мертвое ево тело погребсти у церкви Самсона Странноприимца».

Умершему было 73 года – вельми ветх годами...

Саманиевская церковь в Ленинграде уцелела и поныне; строенная в честь виктории под Полтавой, она оберегается государством как памятник старины; могилу Посошкова давно затоптало время, а внутри собора – доска с надписью: «На кладбище этой церкви погребено тело поборника русского просвещения...»

Мимо исчезнувших могил проносится сейчас новая жизнь. Совсем новая. И настолько не похожая на прежнюю, что их даже никак нельзя сравнивать. И мало кто догадывается, что здесь, в этой церкви, покоится прах первого политэкономиста России!

Согласен, что политэкономия – наука не из веселых.

Теория, мой друг, суха,

Но зеленеет древо жизни...

«Древо жизни» Посошкова зазеленело в 1652 году. Там, где сейчас гудят станции московского метро «Бауманская» и «Электrozаводская», там вытекала из дремучего леса звонкоструйная Язуа, которую издревле облюбовали деловитые бобры (а бобров облюбовали себе на шапки московские бояре). Москва неторопливо изгадила чистую Язуу, окраинными фабриками раздавила село Покровское, жители которого подчинялись Оружейной палате.

Посошков вышел из семьи работающих крестьян-ювелиров, а соседями его были «бобровники», ловившие бобров на шапки боярам. Покровское утопало в садах, и пахло там яблоками, малиной да берсенем – чистым, как виноград. Гудели мохнатые пчелы, запутываясь в волосах крестьянок, а зимой выходили на околицы села волки и, поджав под себя тощие промерзлые хвосты, тоскливо обывали окошки изб...

Иван Тихонович смолоду изведаль Русь в поездках дальних, кистенями дрался с разбойниками в лесах муромских; был он грамотей и знаток механики; жарился возле горнов заводских, где ядра пушечные отливали; друзей имел разночинных – купцов и мытарей, монахов и подьячих, дворян и нищих, сыщиков и жуликов, стрельцов и банщиков. У кого что болит – тот о том и вопит! А вопили на Руси всяко, и никому ладно не было. Начинаясь эпоха Петра I, которого оценило потомство, но современники его мало жаловали.

«Зверь лютый! Саморучно огнем пожигает, – говорили тогда. – Время проводит среди склянниц винных, а друзей набрал себе из Немецкой слободы – вот и куролесят, на беду нашу...»

Нелегко давались народу русскому новшества да войны, что прошлись по мужицким сусекам, словно помелом, повыбили скотинку, отняли лошадок ради дел ратных. Русь быстро, как никогда, скудела. Деревни стояли впусе, заброшены, жители разбегались от тягостей податных, налогов грабительских. А в городах выростал зверь тихий, но ядовитый – бюрократиус! Чиновников расплодилось, будто клопов в паршивой перине, и всюду, куда ни придешь, везде они пишут, а за все писаное взятки хватают... Игумен Авраамий приятельски сказал Посошкову за трапезой нескоромной:

– Аз грешный тоже пишу! Пишу осударю, что тако Русью править нельзя. Где ране един боярин сиживал, ныне царь усадил велик огород из семя крапивного. А молоденьки подьячи, коим стульев не хватило, даже стоя пишут – сам видел! И каждый прыщ мзды алчет. Не наберись царь порядков чужих, мы бы такого прискорбия не ведали... Ой-ой, беда – писаря власть над народом взяли! Авраамия за слова такие огнем пытали и впредь велели чернил с бумагою не иметь.

Посошков тоже едва не угодил под плети. Но изобрел он некий «бой огненный на колесах» (первобытный прообраз будущего танка), и Петр I за этот «бой» Посошкова миловал. Иван Тихонович и сам понимал, что мало где правды сыщется, но мыслил обо всем шире Авраамия – не кляузно, а экономически:

– Опять же что деется? Была ране деньга мерою в половину копейки. Богатому неудобна, ибо три рубли в мешок сложишь – ажно нести тяжко. А бедному деньга-то как раз! Теперь же озабочены чеканкою мер новых: копеек, гривен, полтин да рублевиков... Где ж теперь бедняку на базаре с такими мерами оборачиваться?

Софья Родионовна, жена его, бывало, рукою машет:

– Да восхвали ты Бога, что сам не скуден. Всех нищих на Руси не умаслишь, а всех бояр не обскачешь. Что за язык у тя такой: где бы радоваться, что не стоишь на паперти с рукою протянутой, так – нет: все, знай себе, о бедных поминаешь, Иванушко!

– Не о бедных, – отвечал Посошков жене. – О богатых сужу, коль страна богата. А вот откуда в ней рвань умножается – того взять в толк не могу. Хочу думать...

Финансисты XVIII века заметили, что самые крупные расходы казны происходят от мелочей. Можно бухнуть кучу денег на создание флота или постройку города – и останешься богат, а разорится страна на какой-нибудь ерунде. Бюджет беспутного государства сравнивали с кошельком франтихи: на шпильки, булавки, мушки, веера, пудру, кольца и серьги она всегда истратит гораздо больше, нежели на самое нарядное платье. Посошков был такого же мнения. Состоя при Дворе монетном, он в каждой денежке видел силу великую, силу народную, кою следует тратить с разумностью. Расходовать деньги – это дело, а кидать их попусту – мотовство... Пришел как-то в Оружейную палату иноземный мастер, принес ложе ружейное – без выдумки выструганное: нет резьбы, нет инкрустаций. Волынился с ним четыре месяца, а получил он, супостат, за свое барахло шестьдесят рублей. Посошков показал это ложе мастерам русским:

– Сколь долго трудиться надобно ради ложа такого?

– Ну, день. Больше – стыдно.

– А сколь платят вам за изделие таково?

– Эге! На кружку кваса хватит...

– Вот то-то! – сказал Посошков. – И тужусь я: на што осударь бездельников на Русь тащит, казну на них просыпая даром?..

В канун Северной войны Петр I для чеканки медных денег назвал в Москву мастеров иностранных. Загнули они цену немалую, а дела от них не было. Посошков обозлился и сам изобрел чеканные станы, наладил их. Заухали с высоты цехов «бабы» плющильные, посыпалась денюга, еще раскаленная, в ящички – только считать поспевай! «И я им, иноземцам, – писал Иван Тихонович, – в том ащче и учинил пакость, обаче мне шкоды ни какой не было, а ныне нельзя их не опасатца, понеже их множество, и за поносное на них слово не учинил бы мне какой пакости!» Страшное признание: русский мастер в своей же стране боялся мести иноземцев только потому, что выполнил работу, какой они исполнить не могли.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Б р а т с к и й о с т р о г – ныне всемирно известный город Братск в Иркутской области; башня, в которой сидел Аввакум, сохранилась, и в 1959 г., как музейная реликвия старинной архитектуры, она была перевезена в село Коломенское под Москвой.

2

Сарынь, на кичку! – боевой возглас волжской вольницы. Сарынь – это беднота и голытьба, а кичка – носовая часть волжского корабля. Беря на abordаж купеческие суда с товарами, этим возгласом отделяли голытьбу от купцов, подвергавшихся уничтожению.

Купить: https://tellnovel.com/ru/pikul-_valentin/polet-i-kaprizy-geniya-sbornik

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)